

О радости детства...[1 - Оригинал названия, Such, Such were the Joys – цитата из «Песен Невинности» Уильяма Блейка:“Such such were the joys,When we all girls & boys,In our youth time were seen,On the Ecchoing Green.”В переводе Сергея Степанова:«Мы тоже детьмиРезвились до тьмы,Танцую в кругуНа Звонком Лугу!»].
Джордж Оруэлл

1

Вскоре после прибытия в школу Св. Киприана (не немедленно, лишь недели через две, когда, казалось бы, я уже вписался в школьную рутину), я начал мочиться в постель. Мне было восемь лет, так что это было возвращением к привычке, которую я уже минимум четыре года, как перерос.

Сейчас, насколько я знаю, в том, что ребенок мочится в постель, не видят ничего страшного. Это – нормальная реакция у детей, которых забрали из дома и поместили в непривычную среду. В те же времена это считалось отвратительным преступлением, которое совершается преднамеренно, и которое заслуживает наказания в виде порки. Мне не нужно было объяснять, что это – преступление. Каждую ночь я молился, с истовостью, до тех пор непревзойденной: «Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы я не описался! Боже, молю тебя!», – но на удивление безрезультатно. В некоторые ночи это случалось, а в некоторые – нет. В этом не было волевой или сознательной компоненты. Строго говоря, ты ничего не делал: ты просто просыпался утром, и обнаруживал, что простыня под тобой мокрая, хоть выкручивай.

После второго или третьего проступка, мне дали знать, что в следующий раз меня выпорют, причем предупреждение я получил очень косвенным путем. Однажды вечером, когда мы расходились после чая, миссис Уилкес, жена директора, сидела во главе одного стола, и разговаривала с другой леди, о которой я ничего не знаю, кроме того, что тем вечером она посетила школу. Она была устрашающей, мужеподобной женщиной, одетой в амазонку. Я выходил из комнаты, когда миссис Уилкес позвала меня обратно, будто хотела представить меня посетительнице.

Миссис Уилкес прозвали Флип, и я так в дальнейшем ее и буду называть, так как обычно я вспоминаю ее под этим именем (официально же она именовалась «Мэм» – искаженное «Мадам», обращение учащихся в интернатах к директорской жене). Она была плотной широкоплечей женщиной с твердыми красными щеками, плоской макушкой, выступающими бровями, и впавшими, подозрительными глазами. Хотя большую часть времени она источала поддельное добродушие, умащая учащихся мужскими выражениями («Подтянись, приятель!» и т. д.), и даже обращаясь к ним по имени, глаза ее всегда выглядели озабоченными, укоризненными. Трудно было смотреть ей в лицо, не чувствуя вины, даже тогда, когда ты ни в чем не был виновен.

– Вот мальчик, – произнесла Флип, показывая на меня незнакомой леди, – который каждую ночь писается в постель. Знаешь, что я сделаю, если ты еще раз описашься? – спросила она, поворачиваясь ко мне. – Я скажу шестому классу, чтобы они тебя побиили.

Незнакомая леди сделала вид, что была невероятно шокирована, и воскликнула: «Я тоже так думаю!». И тут случилась одна из тех диких, чуть ли не сумасшедших неразберих, которые происходят в детстве ежедневно. Шестым классом была группа старших ребят с «сильным характером», имеющих право избить малолетку. Я тогда еще не знал об их существовании, и расслышал «шестой класс» («the Sixth form»), как «миссис Форм». Я подумал, что так звали незнакомую леди. Это невероятная фамилия, но у ребенка о таких вопросах нет суждений. Я подумал, что это ей поручено меня выпороть. Я лишился дара речи. Мне не показалось странным, что это поручение дается случайной посетительнице, со школой никак не связанной. Я просто подумал, что «миссис Форм» была сторонницей жесткой дисциплины, которой

нравилось избивать людей (и ее внешний вид, казалось, это подтверждал), и немедленно представил себе весь ужас того, как она ради случая вырывается в костюме для верховой езды, а в руке держит охотничий кнут. До сих пор помню, как я чуть не упал в обморок от стыда, стоя перед этими женщинами, маленький, круглолицый мальчик в вельветовых штанишках. Мне показалось, что я умру, если «миссис Форм» меня будет пороть. Но главным моим чувством был не страх и не обида: это был стыд перед тем, что еще один человек – и при том женщина – знает о моем отвратительном проступке.

Через сколько-то дней, не помню уже, каким образом я узнал, что пороть меня все-таки будет не «миссис Форм». Я не припоминаю, той ли самой ночью я опять помочился в постель, но так или иначе, это случилось вскоре. О, каким было отчаяние, чувство глубокой несправедливости, когда после всех молитв и обещаний я опять проснулся между холодными и липкими простынями. Спрятать содеянное было невозможно. Суровая, величественная матрона по имени Маргарет зашла в спальню с единственной целью – проверить мою кровать. Она откатила одеяло, после чего выпрямилась, и страшные слова выкатились из ее рта, будто раскаты грома:

– ЯВИСЬ в кабинет директора после завтрака.

Я пишу слово «ЯВИСЬ» заглавными буквами потому, что я именно так его воспринимал. Не помню, сколько раз я слышал эти слова в первые годы в школе Св. Киприана. Очень редко это не означало порку. Они звучали, как предзнаменование, как приглушенная барабанная дробь или слова смертного приговора.

Когда я явился, Флип чем-то занималась за длинным полированным столом в прихожей кабинета. Ее рыскающие глаза меня тщательно осмотрели. Мистер Уилкес, по прозвищу Самбо, ждал меня в кабинете. Самбо был сутулый, неуклюжий мужчина, небольшой, но ходивший вперевалку, круглолицый, похожий на огромного младенца, обычно находившийся в хорошем расположении духа. Конечно, он уже знал, зачем я к нему явился, и уже вынул из шкафа наездничий кнут с костяной рукоятью, но частью наказания было вслух объявить свой проступок. Когда я это сделал, он прочитал мне короткую, но напыщенную нотацию, после чего схватил меня за шкуру, согнул, и начал бить наездничим кнутом. В его привычках было продолжать читать нотацию во время битья; я запомнил слова «ты гряз-ный маль-чи-шка», произносимые в такт ударам. Мне не было больно (наверное, он меня не очень сильно бил, так как это был первый раз), и я вышел из кабинета, чувствуя себя гораздо лучше. То, что после порки мне не было больно, было в некотором смысле победой, частично стершей стыд от мочения в постель. Возможно, я по неосторожности даже позволил себе улыбнуться. В коридоре перед дверью прихожей собрались несколько младших мальчиков.

– Ну как – пороли?

– Даже больно не было, – с гордостью ответил я.

Флип все слышала. Незамедлительно послышался ее крик, обращенный ко мне.

– А ну, иди сюда! Немедленно! Что ты сказал?

– Я сказал, что мне не было больно, – пробормотал я, запинаясь.

– Как ты смеешь такое говорить! Думаешь, это пристойно? ЕЩЕ РАЗ ЯВИСЬ в кабинет.

В этот раз Самбо на меня поналег по-настоящему. Порка продолжалась поразительно, ужасно долго – минут пять – и закончилась тем, что наездничий кнут сломался, и костяная рукоять полетела через комнату.

– Видишь, к чему ты меня вынудил! – сказал он мне рассерженно, подняв сломанный кнут.

Я упал в кресло, жалко хныча. Помнится, это был единственный раз за все мое детство, когда битье меня довело до слез, причем даже сейчас я плакал не из-за боли. И в этот раз мне особенно не было больно. Страх и стыд имели обезболивающий эффект. Я плакал отчасти оттого, что от меня это ожидалось, отчасти из искреннего раскаяния, и отчасти из глубокой горечи, которую трудно описать словами, но которая присуща детству: чувства заброшенного одиночества и беспомощности, чувства, что ты оказался не просто во враждебном мире, но в мире добра и зла с такими правилами, которые невозможно исполнять.

Я знал, что мочение в постель а) греховно, и б) вне моего контроля. Второй факт я знал из первых рук, а в первом не сомневался. Следовательно, возможно совершить грех, не зная, что ты его совершил, не желая его совершить, и будучи неспособным его избежать. Грех – это не обязательно что-то такое, что ты делаешь; это может быть что-то, что случается с тобой. Я не утверждаю, что эта мысль пронеслась в моем сознании между ударами кнута Самбо: наверняка я об этом уже думал еще до отправки в школу, так как мое раннее детство тоже было не самым счастливым. Но так или иначе, это было главной, неизменной истиной, извлеченной из моих детских лет: я находился в мире, где я не мог быть хорошим. И двойная порка была поворотным пунктом, после которого перед моим лицом встала жестокость той среды, в которой я очутился. Жизнь была страшнее, а я – хуже, чем мне раньше казалось. Так что я сидел, хныча, на кромке стула в кабинете Самбо, не имея даже щепотки самообладания, чтобы встать, когда он на меня кричал. Я был убежден в собственной греховности, глупости и слабости; я не помню за собой такой убежденности до этого случая.

Вообще, чем дальше отдаляешься от какого-то периода, тем слабее, неизбежно, становится память о нем. Человек постоянно узнает новые факты, и чтобы освободить для них место, должен забывать старые. В двадцать лет я смог бы изложить историю своих школьных лет в таких подробностях, какие сейчас недостижимы. Но также возможно, что после большого промежутка времени память улучшается, так как человек смотрит на прошедшее свежим взглядом, и может изолировать и обратить внимание на факты, которые раньше ничем не выделялись среди большой массы других. Вот две вещи, которые я помнил, но которые до недавнего времени не казались мне странными или стоящими внимания. Одна – что я посчитал вторую порку справедливым и разумным наказанием. Быть выпорот, а потом еще раз гораздо сильнее из-за того, что ты сказал, что от первой порки тебе не было больно – это было вполне естественно. Боги ревностны, и когда тебе повезло, это нужно скрывать. Вторая – что я признал свою вину в том, что кнут сломался. Я все еще помню свои чувства, когда я увидел рукоять, лежащую на коврике – чувство того, что ты сотворил что-то невоспитанное, неуклюжее, и испортил дорогой предмет. Я его сломал: так мне сказал Самбо, и я этому поверил. Это принятие вины на себя лежало в моей памяти незамеченным двадцать-тридцать лет.

Вот и все, что вспоминается по поводу мочения в постель. Но хочется заметить еще кое-что. Я перестал мочиться в постель – то есть, я еще раз в нее помочился, и еще раз был выпорот, но после этого проблема исчезла. Так что, возможно, это варварское средство все-таки эффективно, хотя и слишком дорого обходится.

Школа Св. Киприана была дорогой и снобской школой, в процессе становления еще более снобской и, надо полагать, еще более дорогой. Частная средняя школа, с которой она была наиболее тесно связана, была Хэрроу, но в мое время все большая доля учащихся поступала в Итон. Большинство из них были детьми богатых родителей, но в общем и целом не аристократов – богачей, живших в огромных домах с изгородью в Борнмуте или Ричмонде, и имевших автомобиль и дворецкого, но не поместья. Среди них было несколько экзотических иностранцев – южноамериканцы, сыновья аргентинских говяжьих баронов, один или два русских мальчика, а также сиамский принц, или некто, о ком говорили, что он принц.

У Самбо были две великие амбиции. Первая была привлечь в школу титулованных мальчиков, а вторая – натаскать учеников, чтобы они получали стипендии в частные средние школы, лучше всего в Итон. К концу моей учебы, он приобрел двух мальчиков с настоящими английскими титулами. Один из них, помнится, был жалким, сопливым существом, почти альбиносом, смотревшим вверх слабыми глазами, с длинным носом, на конце которого, казалось, всегда висела капелька. Самбо всегда упоминал титулы мальчиков, рассказывая о них третьим лицам, и первые несколько дней он даже в лицо к ним обращался «лорд такой-то». Разумеется, он находил, как обратить на них внимание, показывая школу какому-нибудь посетителю. Однажды, помнится, тот мальчик-блондин за обедом поперхнулся, и из его носа на тарелку вылился поток соплей – отвратительное зрелище. Любого учащегося низшей породы тотчас же называли бы грязным свинтусом и немедленно выгнали из столовой, но тогда Самбо и Флип только рассмеялись: мальчуган, что с него взять.

Все очень богатые мальчики были более или менее явными фаворитами. В школе еще было нечто от викторианской «частной академии» с «салонными пансионерами», и когда я впоследствии прочитал о такой школе у Теккерея, я сразу же увидел сходство. Богачам по утрам давали молоко и бисквиты, раз или два в неделю с ними занимались верховой ездой, Флип относилась к ним по-матерински, обращалась к ним по имени, а главное, их никогда не пороли. Кроме южноамериканцев, чьи родители находились на безопасном расстоянии, я не думаю, что Самбо когда-либо порол мальчика, доходы отца которого превышали £2 000 годовых. Но иногда он приносил финансовую прибыль в жертву академической славе. Изредка, по особому соглашению, он за сниженную плату принимал мальчика, у которого были сильные шансы получить стипендию в частную среднюю школу, и тем самым повысить престиж школы. Именно на таких правах в школе Св. Киприана находился я: иначе мои родители не смогли бы себе позволить столь дорогую школу.

Сначала я не понимал, что меня взяли за сниженную плату, и только когда мне исполнилось лет одиннадцать, Самбо и Флип стали тыкать меня в это носом. Первые года два-три я прошел через обычные академические жернова, но вскоре после того, как я начал заниматься древнегреческим (латынь начиналась в восемь лет, а древнегреческий – в одиннадцать), меня перевели в класс будущих стипендиантов, которому классическую филологию преподавал сам Самбо. В течение двух-трех лет, в будущих стипендиантов запихивали знания с таким же цинизмом, с каким в рождественского гуся запихивается корм. И какие знания! Само то, что карьера талантливого мальчика всецело зависит от сдачи конкурсного экзамена в возрасте двенадцати-тринадцати лет, является злом; но существуют подготовительные школы, готовящие учеников для Итона, Винчестера[2 - Знаменитые английские частные

средние школы; в тексте дальше упоминаются Хэрроу, Аппингэм и Веллингтон.] и т. п., не вынуждая их воспринимать весь материал с точки зрения оценки на будущем экзамене. В школе Св. Киприана весь процесс был в некотором роде подготовкой к мошенничеству. Твоя задача была выучить ровно столько, сколько произвело бы на экзаменатора впечатление того, что ты знаешь гораздо больше, чем на самом деле, и постольку, поскольку возможно, не загружать свой мозг чем-либо еще. Предметы, не имевшие экзаменационной ценности, например, география, почти полностью игнорировались; математика также игнорировалась, если ты был «классицистом»; науки в какой-либо форме не преподавались – более того, они презирались, а интерес к естественной истории подавлялся – и даже книги, которые рекомендовалось читать в свободное время, выбирались с расчетом на будущее «сочинение по английскому». Ценились главным образом латынь и древнегреческий, основные предметы для стипендиантов, но даже они преднамеренно преподавались показным, неглубоким способом. Например, мы не читали от корки до корки ни одну книжку латинского или греческого автора: мы читали небольшие отрывки, выбранные из-за того, что их дают на экзаменах для перевода. Последний год до экзамена мы главным образом занимались проработкой экзаменационных работ стипендиантов прошлых лет. Во владении Самбо были стопки таких работ, из каждой из основных частных средних школ. Но возмутительнее всего было преподавание истории.

В те годы проводилось совершенно бессмысленное ежегодное состязание под названием кубок Хэрроу по истории, в котором участвовали многие подготовительные школы. Традиционно, его выигрывала школа Св. Киприана, что неудивительно: мы стянули к себе все задания с самого начала кубка, а список возможных вопросов не был неистощимым. Вопросы были дурацкими: ответом всегда являлось имя или цитата. Кто ограбил бегум? Кому отрубили голову в лодке? Кто застал вигов при купании и сбежал с их одеждой? Почти вся история нам преподавалась на таком уровне. История была последовательностью не связанных между собой, непонятных, но – нам не объяснялось, почему – важных фактов, описываемых звучными фразами. Дизраэли принес мир с честью. Гастингс был поражен его умеренностью. Питт использовал Новый Свет для возмещения равновесия в Старом Свете. А даты, а мнемоника (знаете ли вы, например, что первые буквы фразы «Моя тетя – негритянка: вон за хлебом ее дом» также являются первыми буквами сражений войны Алой и Белой Розы?)! Флип, «изучавшая» историю в старших классах, обожала подобного рода вещи. Я припоминаю настоящие оргии дат, во время которых мальчики поприлежнее подпрыгивали вверх и вниз на стульях, готовые выкрикнуть правильные ответы, в то же время не имея ни малейшего желания узнать, чем же были эти таинственные события, которые они называли.

– 1587?

– Варфоломеевская ночь!

– 1707?

– Смерть Аурангзеба!

– 1713?

– Утрехтский договор!

– 1773?

– Бостонское чаепитие!

– 1520?

– О, Мэм, будьте добры...

– Ну? 1520?

– Лагерь золотой парчи!

И так далее.

Но история и другие второстепенные предметы были недурным развлечением. Где ты действительно напрягался, так это в классической филологии. Вспоминая те времена, я осознаю, что тогда я работал тяжелее, чем когда-либо с тех пор, но тогда мне казалось, что мне никак не достичь требуемого уровня усилий. Мы сидели вокруг длинного полированного стола, срубленного из какого-то очень бледного, твердого дерева, а Самбо нас погонял, угрожал, вымогал, иногда шутил, очень редко хвалил, но всегда толкал, подталкивал наши мозги, чтобы мы не сбились с необходимой концентрации, подобно тому, как сонного человека можно держать в бодрствовании, коля его иголками.

– Работай, лежебока! Работай, ленивый, бездарный мальчишка! Ты – бездельник от макушки до пят. Ты слишком много жрешь. Ты съедаешь огромные порции, а сюда приходишь полусонный. А сейчас работай, не отлынивай. Ты не думаешь. Твои мозги не потеют.

Он щелкал по черепу серебряным карандашом, о котором моя память говорит, что он был размером с банан, и который весил достаточно, чтобы набить шишку, или же он тянул за волоски возле ушей, а изредка нагибался под стол, и ударял носком ботинка по щиколотке. А бывали и такие дни, когда совсем ничего не получалось, и тогда происходило следующее: «Ага, хорошо, я знаю, чего ты добиваешься. Ты все утро напрашивался. Пойдем со мной, бездарный лежебока. Пойдем в кабинет.» И тогда – шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, и ты выходил с красными рубцами, полон обиды – к концу моего пребывания Самбо сменил наездничий кнут на ротанговую трость, от которой было гораздо больнее – и возвращался к работе. Это случалось нечасто, но я припоминаю, как несколько раз меня выводили из кабинета посреди латинского предложения и пороли, после чего я продолжал то же самое предложение. Было бы ошибкой считать, что подобные методы не работают. Для достижения определенных целей они еще как работают. Я даже не знаю, давалось ли когда-нибудь классическое образование, и может ли оно вообще успешно даваться без телесных наказаний. Мальчики сами верили в его эффективность. Помнится, мальчика по фамилии Хардкэсл, не имевшего каких-либо мозгов, но по-видимому, остро нуждавшегося в стипендии, Самбо порол, будто охромевшую лошадь. Он пошел на экзамен в Аппингэм, вернулся с сознанием того, что он его сдал плохо, и через день-два был жестоко выпорот за «праздность». – Жалко, что меня не выпороли до экзамена, – сказал он потом – за такое замечание он заслуживал презрение, но я его прекрасно понимал.

С будущими стипендиантами обращались по-разному. Если мальчик был сыном богатых родителей, для которых сниженная плата не была так важна, то Самбо его погонял более или менее по-отцовски, шутя и тыкая в ребра и иногда ударяя карандашом, но без вытягивания волос и без порки. Страдали бедные, но «умные» мальчишки. Наши мозги были золотой копью, в которую он вложил деньги, и из которой он намеревался выжать дивиденды. Задолго до того, как я понял природу своих

финансовых отношений с Самбо, мне было дано понять, что я нахожусь не на том же положении, что остальные мальчики. Фактически в школе было три касты. Было меньшинство – дети аристократов и миллионеров, были дети обыкновенных богачей из пригородов, которые составляли абсолютное большинство учащихся, а также были несколько мелких сошек, таких, как я – дети священнослужителей, индийских колониальных служащих, бедных вдов, и т. п. Учащихся победнее отговаривали брать «лишние» предметы, такие, как стрельбу или плотничье дело, и унижали из-за одежды и мелкой собственности. Например, у меня никогда не было собственной биты для крикета, так как «Твои родители себе этого не могут позволить». Эта фраза преследовала меня все мои школьные годы. В школе Св. Киприана нам не разрешалось держать у себя деньги, которые мы с собой привезли; мы должны были их сдавать на хранение в первый день занятий, а потом, время от времени, нам разрешалось их тратить под надзором. Мне и другим мальчикам в моем положении никогда не давали покупать игрушки подороже, например, игрушечные самолеты, даже если деньги на них имелись. Флип в особенности сознательно культивировала скромные привычки среди мальчиков победнее. Я вспоминаю, как она говорила кому-то – перед всей школой – «По-твоему, такому мальчику, как ты, следует такое покупать? Ты думаешь, когда ты вырастешь, у тебя будут деньги? Твои родные небогаты. Ты должен научиться жить по средствам. Не строй из себя богача». Также, каждую неделю нам давались карманные деньги, на которые мы покупали сласти, и которые Флип раздавала, сидя за большим столом. Миллионерам выдавались шесть пенсов в неделю, но обычная сумма была три пенса. Мне и еще одному-двум другим выдавались два пенса. Мои родители не давали по этому поводу указаний, и экономия одного пенса в неделю не могла играть для них роли: это был признак статуса. Еще хуже дело обстояло с тортом на день рождения. Каждому мальчику на день рождения покупался большой торт с кремом и свечками, которым он за чаем делился со всей школой. Это было обычным, а стоимость торта шла на счет родителям. У меня никогда не было торта, хотя мои родители заплатили бы за него, не задумавшись. Год за годом, не смея спросить, я жалко надеялся на то, что в этом-то году торт будет. Я даже пару раз делал вид перед соучениками, что на этот раз у меня будет торт. Подходило время чая, торта не было, и моя популярность не увеличивалась.

Очень рано мне было дано знать, что у меня не будет шансов на приличное будущее, если я не получу стипендию в частную среднюю школу. Либо я получаю стипендию, либо я ухожу из школы в четырнадцать лет и становлюсь, как любил выражаться Самбо, «мальчиком из офисов на £40 годовых». При моих обстоятельствах, я в это, естественно, верил. Более того, в школе Св. Киприана принималось за должное то, что если ты не поступил в «хорошую» частную среднюю школу (а таковыми считались всего штук пятнадцать школ), то вся твоя последующая жизнь была испорчена. Взрослому трудно почувствовать нервное напряжение перед страшной, решительной битвой, когда дата экзамена подползает все ближе – одиннадцать лет, двенадцать лет, а потом тринадцать, судьбоносный год! На протяжении двух лет не было такого дня, чтобы экзамен не присутствовал в моих повседневных мыслях. Он непременно фигурировал в моих молитвах, а когда мне попадался большой кусок кости-дужки, или когда я подбирал подкову, или семь раз кланялся новой луне, или проходил через калитку, не касаясь сторон, то желание, таким образом заработанное, было, конечно, хорошо сдать экзамен. Как это ни удивительно, меня также мучил почти безудержный порыв не работать. Бывали дни, когда мое сердце сжималось от предстоящих мне трудов, и я стоял, глупый, как животное, перед самыми элементарными трудностями. Я также не мог работать на каникулах. Некоторым будущим стипендиантам приплачивал некий мистер Ноулз, приятный, очень волосатый мужчина, носивший ворсистые костюмы и живший в холостяцкой «берлоге» – ряды книг на стенах, сокрушительная табачная вонь – где-то в городе. Мистер Ноулз посылал нам отрывки из латинских авторов для перевода, и мы должны были раз в

неделю посылать ему листы с работой. Почему-то я этого делать не мог. Пустые листы и черный латинский словарь лежали на столе, сознание долга, от которого я увиливал, отравляло мой досуг, но почему-то я не мог даже начать, и к концу каникул я посылал мистеру Ноулзу всего пятьдесят-сто строк. Нет сомнений, что частью причины было то, что Самбо и его трость были далеко. Но даже во время занятий я проходил через периоды безделья и глупости, когда я все глубже и глубже погружался в позор, и даже докатывался до жалкого, хнычащего бунта, с полным осознанием собственной вины, но будучи неспособен или не желая – сам не знал, что именно – улучшаться. Тогда Самбо или Флип за мной посылали, уже даже не для порки.

Флип осматривала меня сердитыми глазами (интересно, какого цвета были ее глаза? Мне они вспоминаются зелеными, но на самом деле, зеленых глаз у людей не бывает – наверное, они были карие). Она начинала своей особенной, льстивой, запугивающей манерой, посредством которой она всегда успешно обходила всю защиту и ударяла по лучшему, что было в учащемся.

– Не думаю, что с твоей стороны очень уж прилично так себя вести, разве не так? Думаешь, ты своих мать и отца не подводишь, если ты бездельничаешь, неделю за неделей, из месяца в месяц? Ты хочешь выбросить все свои шансы? Ты же знаешь, что твои родители – не богачи. Ты знаешь, что они не могут себе позволить то, что могут родители других ребят. Как они тебя пошлют в частную среднюю школу, если ты не получишь стипендии? Я знаю, как твоя мать тобой гордится. Ты хочешь ее подвести?

– Думаю, что он уже не хочет поступить в частную среднюю школу, – говорил Самбо, обращаясь к Флип, делая вид, что я отсутствую. – Думаю, что он поставил на этом крест. Он хочет стать мальчиком из офисов на 40 годовых.

Ужасное чувство слез – опухоль в груди, щекотка за носом – уже по мне ударяло. Флип вытаскивала козырный туз:

– Как ты думаешь, к нам справедливо то, как ты себя ведешь? После всего, что мы для тебя сделали? Ты же знаешь, что мы для тебя сделали? – Ее глаза в меня глубоко ввинчивались, но хотя она мне напрямую никогда не говорила, я это знал. – Ты у нас жил все эти годы – даже на каникулах оставался на неделю, чтобы мистер Ноулз с тобой занимался. Мы не хотим тебя отсылать, ты же знаешь, но мы не можем здесь держать мальчика, который нас только объедает, год за годом. Я не думаю, что ты ведешь себя правильно. А ты?

У меня никогда не было ответа, кроме жалкого «Нет, Мэм» или «Да, Мэм», в зависимости от обстоятельств. Очевидно, я не вел себя правильно. Так или иначе, нежеланная слеза вылезала на свет из уголка глаза, скатывалась по носу, и падала на пол.

Флип никогда не говорила мне прямым текстом, что я – неплатящий учащийся [3 - На самом деле, родители Оруэлла платили за его учебу 90 в год вместо обычных 180.], без сомнений, потому что такие фразы, как «после всего, что мы для тебя сделали», эмоционально затрагивают сильнее. Самбо, не имевший амбиций любви со стороны учеников, выражал это четче, с присущей ему речевой помпезностью. «Ты живешь на моем иждивении» было его любимой фразой в этом контексте. Как минимум однажды я слышал эти слова между ударами розг. Справедливости ради, должен отметить что эти сцены были несчастными, и кроме одного случая, имели место в отсутствии других мальчиков. Публично мне напоминали, что я беден, и мои

родители «не могут себе позволить» то или се, но мое зависимое положение не упоминалось. Это было последним аргументом, остающимся без ответа, который извлекался, как орудие пытки, когда я совсем уже плохо работал.

Чтобы понять эффект, производимый подобного рода вещами на десяти-двенадцатилетнего ребенка, нужно помнить, что ребенок совершенно лишен чувства пропорций и вероятностей. Ребенок может полностью состоять из эгоизма и непослушания, но у него нету накопившегося опыта, дающего уверенность в собственных суждениях. В общем и целом, он принимает за чистую монету то, что ему говорят, и верит в самые фантастические свойства власти и знаний окружающих его взрослых. Вот пример:

Я уже говорил, что в школе Св. Киприана нам не разрешалось держать у себя собственные деньги. Но нам предоставлялась возможность скопить шиллинг-два, и иногда я тайком покупал сласти и прятал их в плюще на стене спортплощадки. Однажды, когда меня послали с поручением, я зашел в кондитерскую за милю от школы или еще дальше, и купил шоколадку. Когда я вышел из магазина, на другой стороне улицы я увидел низкорослого человека с острыми чертами лица, который, как мне показалось, пристально смотрел на мою школьную фуражку. Я немедленно проникся жутким страхом. У меня не было сомнений, кто этот человек. Это – шпион на службе у Самбо! Я безразлично развернулся, и побежал со всех ног. Но когда я добежал до угла, я заставил себя опять идти ровным шагом – бежать было признаком вины, а в городе тут и там должны быть другие шпионы. Весь день и весь следующий день я ожидал приказа явиться в кабинет, и был удивлен тому, что оно не поступило. Мне не казалось странным то, что директор частной школы содержит армию осведомителей, и тем более я не задавался вопросом, как он им платит. Я предполагал, что любой взрослый, в школе или вне ее, будет добровольно содействовать в том, чтобы мы не нарушали школьные правила. Самбо был всемогущ, и то, что везде были его агенты, было только естественно. Когда этот случай произошел, мне не могло быть меньше двенадцати лет.

Я ненавидел Самбо и Флип некоей стыдливой, совестливой ненавистью, но мне не приходило в голову сомневаться в их суждениях. Когда они говорили мне, что я должен либо получить стипендию в частную среднюю школу, либо в четырнадцать лет стать мальчиком из офисов, я верил, что это – стоящие передо мной неотвратимые альтернативы. И превыше всего, я верил Самбо и Флип, когда они говорили мне, что они мои благодетели. Сейчас, конечно, я вижу, что с точки зрения Самбо я был хорошей инвестицией. Он вложил в меня деньги, и ожидал их возврата в форме престижа. Если бы я «отлынивал», как иногда случается с подающими надежды мальчиками, то он бы наверняка от меня быстро избавился. Но случилось так, что я получил стипендии в двух местах, и он наверняка выжал все возможное из этого факта в рекламных проспектах. Но ребенку трудно понять, что школа – это главным образом коммерческое предприятие. Ребенок верит, что школа существует ради образования, а учитель его наказывает ради его же блага, или из-за собственной жестокости. Флип и Самбо решили быть моими друзьями, и их дружба включала в себя порку, упреки и унижения, которые мне были полезны, и которые спасли меня от табуретки младшего клерка. Это была их версия происходящего, и я в нее верил. Следовательно, было очевидно, что я должен был им быть глубоко благодарен. Но я не был благодарен, и я это прекрасно понимал. Напротив, я их обоих ненавидел. Я не мог контролировать свои субъективные чувства, и не мог их от себя скрыть. Но ненавидеть своих благодетелей – гадко, не так ли? Так меня учили, и я в это верил. Ребенок принимает кодекс поведения, который ему дается сверху, даже если он его нарушает. Лет с восьми, или даже раньше, в моем сознании грех всегда был недалеко. Даже если я делал вид, что я черствый или непокорный, все равно это

было тонкой коркой над массой стыда и смятения. На протяжении всего моего детства, у меня было глубокое убеждение в том, что из меня не выйдет ничего хорошего, что я зря трачу время, порчу свои таланты, веду себя чудовищно глупо, гадко и неблагодарно – и казалось, все это было неизбежно, ибо я жил среди законов таких же абсолютных, как закон всемирного тяготения, но соблюдать которые я не мог.

3

Никто не может вспоминать свои школьные годы, и правдиво заявлять, что был полностью несчастлив.

У меня есть несколько хороших воспоминаний о школе Св. Киприана среди массы плохих. Летом днем мы иногда ходили в замечательные экспедиции по возвышенности до деревни Бёрлинг Гэп, или на пляж плавать среди меловых валунов, что было опасно, так как ты возвращался домой весь в порезах. Еще замечательнее были летние вечера, когда, в виде особой награды, нас не загоняли в койку, как обычно, а разрешали гулять по территории до наступления темноты, а в девять часов мы ныряли в бассейн. Какое удовольствие – летом проснуться на час раньше, и получить час спокойного чтения (Иэн Хей, Теккерей, Киплинг и Герберт Уэллс были любимыми писателями моего детства) среди солнечного света и спящих мальчиков. Также был крикет, в который я играл из рук вон плохо, но к которому у меня лет до восемнадцати была неразделенная любовь. Еще одной радостью были гусеницы – шелковистые зеленая и лиловая винная хохлатка, призрачный зеленый тополевый бражник, сиреневый бражник размером в средний палец, образцы которых можно было тайком купить за шесть пенсов в магазине в городе – а также, если сможешь ненадолго отойти от учителя, выведшего класс на прогулку, можно было ловить оранжевопузых тритонов в лужах на возвышенности. Ситуация, когда ты выходишь на прогулку, находишь что-то потрясающе интересное, а потом тебя окриком от него отрывают, как собаку рывком за поводок – важная составляющая школьной жизни, и вносит свой вклад в уверенность, присущую многим детям, что то, что тебе больше всего на свете хочется делать, тебе делать нельзя.

Очень редко, возможно, всего один раз за все лето, предоставлялась возможность сбежать от казарменной атмосферы школы, когда старшему учителю Силлеру разрешалось взять с собой одного-двух мальчиков для ловли бабочек на лугу за пару миль от школы. Силлер был седым мужчиной с землянично-красным лицом, который любил естественную историю, делал модели и гипсовые слепки, показывал волшебный фонарь, и тому подобное. Он и мистер Ноулз были единственными взрослыми, как-либо связанными со школой, которых я не боялся и которые мне не были противны. Однажды он завел меня в свою комнату, и доверительно показал мне свой никелированный шестизарядный револьвер с перламутровой рукоятью – он хранил его в ящике под кроватью. Ах, какой радостью были эти экспедиции! Проезжаешь две-три мили на одиноком пригородном поезде, и весь день туда-сюда бегаешь, держа в руках большие зеленые сети, а вокруг над травой парят чудовищные стрекозы, и стоит зловещая, болезненно пахнущая бутылка с ядом, а потом ты пьешь чай в таверне, заедая большими кусками бледного пирожного! Главным была железнодорожная поездка, которая, казалось, воздвигает магическую преграду между тобой и школой.

Характерно, что Флип недолюбливала эти экспедиции, хотя явно их не запрещала. – Ты что, ловил бабочек? – говорила она со злобной усмешкой, когда ты возвращался,

изображая детский голосок. С ее точки зрения, естественная история («букашек ловить», как она, должно быть, выражалась) была детским развлечением, за увлечение которым мальчиков следовало высмеивать как можно ранее. Более того, она была каким-то образом плебейским занятием, и традиционно ассоциировалась с очкариками, никчемными в спорте. Она тебе не помогала проходить экзамены, и притом, прежде всего, она была наукой, и следовательно, угрожала классическому образованию. Требовалось недюжинное моральное усилие, чтобы принять предложение Силлера. О, как я боялся усмешки про бабочек! Однако, Силлер, который работал в школе с первых дней, добился для себя некоей независимости: он умел обращаться с Самбо, и большей частью игнорировал Флип. Если они оба были в отъезде, Силлер исполнял обязанности директора, и в этом случае, вместо того, чтобы читать нам очередную проповедь на утренней молитве, он читал нам истории из Апокрифов.

Большинство приятных воспоминаний моего детства, и лет так до двадцати, так или иначе связаны с животными. Мне также кажется, что большинство приятных воспоминаний, связанных со школой Св. Киприана, относятся к лету. Зимой из носа постоянно текли сопли, пальцы были слишком холодными, чтобы застегнуть рубашку (особенно несчастными были воскресенья, когда мы надевали итонские воротнички), а также был ежедневный кошмар футбола – холод, грязь, отвратительный скользкий мяч, который летел тебе прямо в лицо, пихающие колени и топчущие ботинки старших мальчиков. Проблема была в том, что зимой, лет после десяти, я редко был здоров, по крайней мере во время занятий. У меня была аномалия строения бронхов и поражение одного легкого, которое было обнаружено лишь через много лет. Так, что я не только страдал хроническим кашлем, но и бегать для меня было мучением. В те же годы, «хрипение» или диагностировалось, как плод воображения, или считалось моральным расстройством, вызванным перееданием. – Ты хрипишь, как концертная, – говорил Самбо неодобрительно, стоя за моим стулом, – Ты постоянно набиваешь живот, вот почему. О моем кашле говорилось, как о «кашле живота», что звучит как отвратительно, так и предосудительно. Лекарством от него считался быстрый бег, который, если им достаточно заниматься, «прочищал грудь».

Удивительно, до какой степени – не могу сказать, что невзгоды, но убожество и запущенность – принимались за должное в школах для детей высшего класса того периода. Почти как в дни Теккерей, считалось естественным, что восьмилетний или десятилетний мальчик должен быть жалким, сопливым существом, его лицо почти постоянно грязным, на руках цыпки, ногти обгрызены, его платок – промокший ужас, его зад зачастую весь в синяках. В последние дни каникул, перспектива возвращения в школу лежала в груди, как свинцовый комок отчасти из-за ожидаемого физического неудобства.

Характерная память о школе Св. Киприана – это поразительно твердая кровать в первую ночь семестра. Так, как это была дорогая школа, учась в ней, я сделал шаг вверх по социальной лестнице, но стандарты удобства в ней были во всех отношениях гораздо ниже, чем у меня дома, и даже чем дома у рабочих побогаче. В баню ходили всего раз в неделю, к примеру. Еда не только была невкусной; ее также не хватало. Никогда ни до, ни после того я не видел такого тонкого слоя масла или джема на ломтике хлеба. Подозрения в том, что я придумываю, что нас недокармливали, рассеиваются, когда я вспоминаю, к каким ухищрениям мы прибегали, воруя еду. Вспоминается, что я несколько раз в два или три часа ночи крался через, как казалось, мили лестниц и проходов – босоногий, после каждого шага останавливаясь и прислушиваясь, парализованный страхом перед Самбо, привидениями и ворами одновременно – чтобы украсть черствый хлеб из кладовой. Младшие учителя ели вместе с нами, но кормили их чуточку получше, и если предоставлялась наименьшая возможность, мы обыкновенно тибрили шкурки бекона или

кусочки жареной картошки, убирая за ними тарелки.

Как всегда, я не видел веских коммерческих причин недокармливания. В общем и целом, я соглашался со взглядами Самбо о том, что мальчиковый аппетит – это некая болезненная опухоль, рост которой нужно сдерживать постольку, поскольку возможно. Принцип, который нам часто повторяли в школе Св. Киприана, заключался в том, что здоровее вставать из-за стола таким же голодным, каким ты за него сел. Всего одним поколением раньше, школьные обеды зачастую начинались неподслащенным пудингом из почкового жира, который, говорилось откровенно, «перебивает мальчикам аппетит». Но недокармливание было, наверное, менее вопиющим в подготовительных школах, в которых мальчик полностью полагался на официальное питание, чем в частных средних школах, где ему разрешалось – более того, от него ожидалось, что он будет частично покупать себе еду. В некоторых школах, ему буквально нечего было есть, если он регулярно не покупал себе яйца, колбасу, сардины и т. д., и его родители ему не оставили на это денег. В Итоне, например, ученика почти не кормили после дневного обеда. С вечерним чаем давался только хлеб с маслом, а в восемь часов подавался скудный ужин из супа или жареной рыбы, а чаще всего лишь хлеб с сыром и водой. Самбо однажды поехал в Итон, чтобы навестить своего старшего сына, и вернулся в снобском экстазе от роскоши, в которой живут ученики. Они им на ужин дают жареную рыбу! – воскликнул он, сияя всем своим пухлым лицом. – Такой школы больше нигде в мире нет! Жареную рыбу! Традиционный ужин беднейших рабочих! В самых дешевых интернатах наверняка было еще хуже. В раннем детстве я как-то видел, как учеников начальной школы-интерната, должно быть, детей фермеров или лавочников, кормили вареными легкими.

Любой человек, пишущий о своем детстве, должен опасаться преувеличений и жалости к себе. Я не хочу утверждать, что я был мучеником, или что школа Св. Киприана была неким подобием Дотбойс-Холл[4 - Частная школа в романе Чарльза Диккенса «Николас Никльби» (1838-1839), где царили очень жестокие порядки.]. Но я фальсифицировал бы собственную память, если бы не записывал, что вспоминается в основном чувство отвращения. Жизнь в тесноте, с недокармливанием и недомытьем была отвратительной так, как я ее помню. Если я закрою глаза и скажу «школа», то конечно, перед моими глазами сначала возникнет физическое окружение: ровная спортплощадка с павильоном для крикета, маленький сарайчик возле стрельбища, спальные помещения, в которых вечно дули сквозняки, пыльные, занозистые коридоры, асфальтированная площадка перед спортзалом, а за школой молельня, построенная, как казалось, из свежесрубленной сосны. И почти в каждом месте глаз режет какая-то мерзкая деталь. Например, кашу мы ели из оловянных мисок. У этих мисок свешивались кромки, и под кромками собиралась скисшая каша, которая отслаивалась длинными полосками. Сама каша содержала в себе больше комков, волос и неизвестного происхождения черных крупинок, чем это представлялось возможным, если их в нее никто не клал нарочно. Начинать есть такую кашу было опасно; ее нужно было сначала перебрать. А грязная вода бассейна – он был двенадцать-пятнадцать футов в длину, и вся школа в него должна была окунаться каждое утро, и я сомневаюсь, что воду в нем меняли сколь-либо часто – и вечно сырые полотенца, пахнущие сыром; а иногда зимой, мутная морская вода из Девонширских Бань, которая забиралась прямо от пляжа, и в которой я однажды заметил плавающий человеческий кал. А потный запах раздевалки, в которой стояли жирные тазы, а за ними ряд грязных, обшарпанных туалетных кабинок, на дверях которых не было никаких замков, так что когда ты там сидел, кто-то к тебе непременно вламывался. Мне нелегко вспоминать школьные годы, не чувствуя какой-либо холодный и гадкий запах – смесь запаха потных чулков, грязных полотенец, запаха кала, несущегося по коридорам, запаха вилок с засохшей едой

между зубцов, тушеной бараньей шеи, вперемешку со звуком ударов дверцы от туалетной кабинки и ночного горшка о пол спальни.

Я по природе своей не общителен, а туалетно-сопливая сторона жизни непременно сильнее бросается в глаза, когда большое количество людей собирают вместе под одной крышей. В армии дела обстоят не лучше, а в тюрьме, несомненно, хуже. Кроме того, детство – это возраст отвращения. Когда ты это уже замечаешь, но еще к этому не привык – скажем, между семью и восемнадцатью годами – кажется, что ты все время ходишь по канату над выгребной ямой. Но я не думаю, что преувеличиваю мерзость школьной жизни, когда вспоминаю, как наше здоровье и чистота запускались, несмотря на всю болтовню о чистом воздухе и холодной воде и физической культуре. Среди учеников часты были запоры по несколько дней подряд. Более того, регулярное хождение в туалет избегалось, так как единственным разрешенным слабительным была касторка или еще одно такое же жуткое снадобье под названием лакричный порошок. В бассейн нужно было окунаться каждое утро, но некоторые мальчики от этого уклонялись днями, попросту исчезая, когда звенел звонок, или же стоя на краю бассейна в толпе, а потом смачивая волосы грязной водой с пола. Восемилетний или девятилетний мальчик не станет содержать себя в чистоте, если его не заставляют. Один новичок по фамилии Бэчелор, красивый маменькин сынок, поступил к нам незадолго до моего окончания. Первое, что я в нем заметил, была великолепная перламутровая белизна его зубов. К концу семестра, его зубы приобрели потрясающий зеленый оттенок. За все это время, по-видимому, никто не удосужился задаться вопросом, чистит ли он зубы.

Но конечно, разница между домом и школой была не только физической. Выступ на жестком матрасе в первую ночь семестра вызывал во мне чувство внезапного пробуждения, чувство «Вот – действительность; вот, с чем ты столкнулся». Дом может быть далек от совершенства, но он –местилище любви, а не страха, где не нужно постоянно быть на страже от окружающих. В восемь лет тебя внезапно вырывали из теплого гнездышка, и бросали в царство силы, обмана и секретов, как золотую рыбку в цистерну со щуками. Против любого количества издевательств не было возмещения. Защитить себя можно было только доношением, которое, кроме нескольких четко очерченных ситуаций, было непростительным грехом. Написать домой и попросить, чтобы родители тебя отсюда забрали, было бы еще менее мыслимым, так как это означало признаться с своим несчастьем и непопулярности, чего мальчик никогда не совершит. Мальчики – эревоныцы [5 - Жители вымышленной страны из сатирического романа Сэмуэля Батлера «Эревоны» (1872), где быть больным или несчастным считается преступлением.]: они считают, что несчастье позорно, и его нужно изо всех сил скрывать. Возможно, нам разрешалось жаловаться родителям о плохом питании или неоправданной порке, или ином дурном обращении со стороны учителей, но не других мальчиков. Тот факт, что Самбо никогда не бил богатых мальчиков, указывает на то, что жалобы иногда поступали. Но при моих особых обстоятельствах, я не мог попросить родителей ходатайствовать за меня. Даже до того, как я узнал о сниженной плате, я понимал, что они каким-то образом обязаны Самбо, и поэтому не могут защитить меня от него. Я уже упоминал, что за все время моей учебы в школе Св. Киприана, у меня никогда не было своей биты для крикета. Мне говорили, что «твои родители себе это не могут позволить». Однажды на каникулах по какому-то случаю родители упомянули, что они заплатили десять шиллингов с этой целью: но бита не появилась. Я не возмущался перед родителями, и тем более не стал поднимать вопрос с Самбо. Как я мог? Я всецело зависел от него, и десять шиллингов были такой малой долей всего того, что я ему был должен. Сейчас я понимаю, что совершенно невероятно, что Самбо зажил эти деньги. Нет сомнений, что он просто запомнил. Но важно то, что тогда я подумал, что он их зажил, и что он имел полное право так поступать, если

захочет.

Как трудно ребенку иметь какую-либо независимость характера, показывает наше поведение перед Флип. Думаю, что было бы правдой утверждать, что каждый мальчик в школе ее ненавидел и боялся. Но мы все перед ней пресмыкались так жалко, как только возможно, а поверхностный слой наших чувств к ней состоял из лояльности вперемешку с виной. Хотя школьная дисциплина зависела от нее более, чем от Самбо, Флип даже не делала вид, что судит по справедливости. Она была откровенно капризной. Поступок, которым ты в один день зарабатывал порку, в другой день мог вызвать лишь смех, как ребяческая проделка, или даже похвалу, так как он проявлял твою «силу характера». Бывали дни, когда все съезжались перед ее впавшими, укоризненными глазами, и бывали дни, когда она была кокетливой королевой, окруженной придворными любовниками, смеялась и шутила, разбрасывала щедроты или обещания щедрот («А если ты выиграешь кубок Хэрроу по истории, я тебе куплю новый футляр для фотоаппарата!»), и иногда даже сажала трех-четырёх любимцев в свой «Форд» и везла их в чайную в город, где им разрешалось купить кофе и пирожные. В моем уме Флип была неразрывно связана с Елизаветой Первой, чьи отношения с Лейчестером, Эссексом и Рейли мне были понятны с самого раннего возраста. В разговорах о Флип, мы всегда употребляли слово «фавор». Мы говорили «я у нее в фаворе» или «я вышел из ее фавора». Кроме горстки богатых или титулованных мальчиков, никто не был у нее в фаворе постоянно, но даже на отщепенцев он иногда снисходил. Так, что хотя мои воспоминания о Флип в основном враждебны, я также вспоминаю немалозначительные периоды, когда я грелся от ее улыбок, когда она говорила мне «приятель» и называла меня по имени, а также разрешала мне пользоваться своей частной библиотекой, где я впервые познакомился с «Ярмаркой тщеславия» [6 - Роман Уильяма Мейкписа Теккерея (1847-48)]. Но высшей точкой фавора было прислуживать за столом в воскресенье вечером, когда у Флип и Самбо к ужину были гости. Конечно, убирая, ты получал возможность закусить остатками пищи, но ты также получал лакейское удовольствие от стояния за сидящими гостями, и почтительного выхода вперед, когда они что-либо хотели. При первой возможности, ты подлизывался, и первая же улыбка превращала ненависть в раболепную любовь. Я всегда был потрясюще горд, когда добивался того, чтобы Флип засмеялась. Я даже по ее указанию писал *vers d'occasion* [7 - Стихи к случаю (франц.)], комические стихи в честь памятных событий в жизни школы.

Я изо всех сил желаю подчеркнуть, что я не был мятежником, кроме как в силу обстоятельств. Я подчинялся кодексам, бывшим в силе. Однажды, ближе к концу моего пребывания в школе, я даже донес Силлеру о вероятном случае гомосексуализма. Я не очень хорошо себе представлял, что такое гомосексуализм, но я знал, что это случается, и это плохо, и это один из тех случаев, когда доносить можно. Силлер сказал, что я «молодец», из-за чего мне стало ужасно стыдно. Перед Флип, казалось, ты беспомощен, как змея перед заклинателем змей. У нее был неизменный запас выражений похвалы и ругани, целый набор готовых фраз, каждая из которых вскорости вызывала соответствующую реакцию. Было «Подтянись, приятель!», вдохновлявшее на пароксизмы энергии; было «Не будь таким дураком!» (вариант: «Смешно, не правда ли!»), после которого ты себя чувствовал врожденным идиотом; также было «С твоей стороны это не очень честно, разве не так?», всегда доводившее до слез. Но всегда в глубинах сердца, казалось, находится неподкупное «внутреннее я», которое знает, что что бы ты ни делал – смеялся ли или хныкал, или же был неистово благодарен из-за мелкой благосклонности – единственным подлинным чувством была ненависть.

Я узнал в самом начале своей карьеры, что можно согрешить против своей воли, и немногим позже я также узнал, что можно согрешить, не зная даже, что ты содеял, и почему это плохо. Некоторые грехи были слишком тонкими, чтобы их объяснять, а некоторые – слишком страшными, чтобы быть названными. Например, секс, который всегда тлел совсем неглубоко, но однажды, когда мне было двенадцать лет, взорвался огромным скандалом.

В некоторых начальных школах-интернатах, гомосексуализм не является проблемой, но по-моему, со школой Св. Киприана это было не так из-за южноамериканцев, созревающих на год-два раньше английских мальчиков. В этом возрасте это мне было неинтересно, так что я не знаю, что же, собственно, произошло, но скорее всего, это была групповая мастурбация. Как бы то ни было, в один прекрасный день над нашими головами разразилась гроза. Начались вызовы в кабинет, допросы, признания, порки, раскаяния, серьезные лекции, из которых нельзя было понять абсолютно ничего, кроме того, что был совершен некий неискупимый «животный» или «свинский» грех. Одного из зачинщиков, мальчика по фамилии Кросс, по свидетельствам очевидцев пороли четверть часа не переставая, после чего исключили из школы. Его вопли были слышны по всему помещению. Но мы все были причастны, или чувствовали себя причастными. Вина висела в воздухе, как клубы дыма. Младший учитель, важный брюнет и имбецил, впоследствии член Парламента, собрал старших мальчиков в укромном углу, и произнес речь о Храме Тела.

– Разве вы не знаете, какая замечательная вещь – ваше тело! – произнес он со всей серьезностью. Вы спорите об автомобилях – Роллс-Ройсах, Даймлерах. Разве вы не понимаете, что никакой автомобиль никогда не сравнится с вашими телами? А вы их портите – на всю жизнь!

Он повернул свои черные впавшие глаза в моем направлении, и грустно добавил:

– Я всегда думал, что ты хороший человек, но говорят, что ты – один из худших.

На меня спустился мрак. Значит, я тоже был виновен. Я тоже совершил страшное нечто, которое на всю жизнь разрушит твоё тело и душу, так что ты или наложишь на себя руки, или кончишь жизнь в сумасшедшем доме. До тех пор я надеялся, что я был невиновен, и уверенность в грехе, которая овладела мной, была, наверное, особенно сильной из-за того, что я не знал, что же я совершил. Я не был в числе допрошенных и поротых; и лишь значительное время спустя после скандала я узнал о невинном происшествии, которое связало с ним мое имя. Но даже тогда я ничего не понял. Только года два спустя я догадался, наконец, о чем шла речь в лекции о Храме Тела.

В то время я находился в почти бесполом состоянии, что нормально, или по крайней мере часто встречается среди мальчиков этого возраста; так что я одновременно знал и не знал, откуда берутся дети. В пять-шесть лет, как многие дети, я прошел через сексуальную фазу. Я дружил с детьми соседа-слесаря, и мы иногда играли в игры несколько эротического характера. Одна называлась «играть в доктора», и я помню неясный, но определенно приятный восторг, когда я держал игрушечный горн, изображающий собой стетоскоп, возле живота девочки. Тогда же я глубоко влюбился, преклоняясь перед возлюбленной в гораздо большей степени, чем когда-либо с тех пор, в девушку по имени Эльзи в монастырской школе, в которую я ходил. Мне она казалась взрослой, так что ей должно было быть лет пятнадцать. После этого, как это часто случается, все сексуальное ушло из меня. В двенадцать лет я знал

больше, чем когда был маленьким, но понимал меньше, так как я уже не знал того главного факта, что в сексуальной деятельности есть нечто приятное. Между семью и четырнадцатью годами сама тема мне казалась неинтересной, а если мне почему-то приходилось о ней думать, отвратительной. Мое знание того, откуда берутся дети, происходило от животных, и следовательно было искажено, или по крайней мере отрывочно. Я знал, что животные совокупляются, и что у людей – тела, подобные телам животных: но что люди также совокупляются, я знал, но неохотно, только когда что-то, например, стих из Библии заставлял меня об этом вспомнить. Не имея желания, я также был лишен любопытства, и был готов оставить многие вопросы без ответа. Так, что в принципе я знал, как ребенок попадает в женщину, но не знал, как он из нее появляется, так как ни разу этим вопросом не интересовался. Я знал все плохие слова, и в минуты злости их повторял, но не знал, что означают худшие из них, и не желал знать. Они были плохими абстрактно, как словесные заклинания. Пока я находился в этом состоянии, я с легкостью ничего не понимал в сексуальных проступках, происходивших вокруг меня, и не поумнел даже тогда, когда разразился скандал. Самое большее, что я вынес из всех завуалированных, но ужасных предостережений Флип, Самбо и остальных, была некая связь между преступлением, в котором мы все были виновны, и половыми органами. Я замечал, не имея к этому особого интереса, что иногда пенис самопроизвольно встает (это начинает случаться с мальчиком гораздо раньше какого-либо осознанного полового влечения), и я склонялся к вере или полувере в то, что это было тем самым преступлением. Как бы то ни было, преступление имело какое-то отношение к пенису – вот все, что я понимал. Уверен, что многие другие мальчики пребывали в таких же потемках.

После лекции о Храме Тела (кажется, спустя несколько дней: столько длился скандал), человек двенадцать учеников усадили за длинный, полированный стол, за которым Самбо проводил уроки для будущих стипендиантов. Флип смотрела на нас потупленным взглядом. Из какой-то комнаты этажом выше раздался долгий, отчаянный вопль. Маленького мальчика по фамилии Дункан, не старше десяти лет, который каким-то образом был замешан, пороли, или же он приходил в себя от порки. Будто по сигналу, Флип стала пристально осматривать наши лица, и остановилась на мне.

– Вот видите, – произнесла она.

Я не могу поклясться, что она сказала «Вот видите, что вы наделали!», но смысл был именно таков. Мы все поникли от стыда. Мы Каким-то образом мы сбили несчастного Дункана с пути истинного: мы несли ответственность за его агонию и крах. Тогда Флип повернулась к мальчику по фамилии Клэпем. Прошло тридцать лет; я уже не помню точно, прочитала ли она стих из Библии по памяти, или же вынесла Библию, и сказала Клэпему его прочитать; в любом случае, был прочитан следующий стих:

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской».

Это было страшно. Дункан был одним из малых сих; мы его соблазнили; лучше было бы, если бы нам повесили мельничный жернов на шею и потопили нас во глубине морской.

– Ты об этом подумал, Клэпем – ты подумал, что это значит? – спросила Флип. Клэпем разрыдался, всхлипывая.

Другой мальчик, уже упоминавшийся Хардкэсл, был точно так же брошен в пучины стыда обвинением, что у него вокруг глаз – черные круги.

– Ты давно смотрел в зеркало, Хардкэсл? – спрашивала Флип. – Тебе не стыдно разгуливать с таким лицом? Ты думаешь, никто не знает, что означают черные круги вокруг мальчишеских глаз?

Опять на меня спустился груз вины и страха. А вокруг моих глаз видны черные круги? Через пару лет я понял, что это – симптом, по которому якобы можно определить онаниста. Но уже тогда, не зная этого, я принял то, что черные круги – непреложный знак порока, какого-то порока. И много раз, даже до того, как я понял, что это должно означать, я с тревогой смотрел в зеркало, боясь увидеть первые признаки ужасной стигмы, признания, которое тайный грешник пишет на собственном лице.

Ужасы рассеялись, или перестали быть постоянными, но это не повлияло на мои, если так можно выразиться, официальные убеждения. То, что говорилось про сумасшедший дом или могилу самоубийцы, все еще было правдой, но уже не пугало до полусмерти. Через несколько месяцев так случилось, что я опять увидел Кросса, зачинщика, которого выпороли и исключили. Кросс был одним из парий, ребенок родителей из низшего-среднего класса, из-за чего, среди всего прочего, Самбо с ним так жестоко обошелся. На следующий семестр после исключения, он перешел в Истборн-колледж, небольшую частную среднюю школу неподалеку, которую в школе Св. Киприана изо всех сил презирали, и считали «ненастоящей» средней школой. Туда перешло всего несколько ребят из школы Св. Киприана, и Самбо всегда упоминал о них с некоторой презрительной жалостью. Если ты ходишь в такую школу, то у тебя нет шансов: в лучшем случае тебе предстоит карьера клерка. Я считал Кросса человеком, который в тринадцать лет уже лишился всяческой надежды на сколь-либо достойное будущее. Физически, морально и социально он был кончен. Более того, я предполагал, что родители послали его в Истборн-колледж потому, что после позора его бы не приняла ни одна «хорошая» школа.

В следующем семестре, когда мы были на прогулке, мы прошли мимо Кросса. Он выглядел совершенно нормально. Он был красивый черноволосый мальчик крепкого телосложения. Я сразу же заметил, что он выглядел лучше, чем когда я его видел в последний раз – его лицо, ранее очень бледное, порозовело – и ему не было стыдно, когда он нас встретил. По-видимому, он не стыдился ни того, что был исключен, ни того, что ходил в Истборн-колледж. Если что-то и можно было извлечь из того, как он глядел на нас, проходивших мимо него, так это то, что он был рад вырваться на волю из школы Св. Киприана. Но встреча не произвела на меня должного впечатления. Я не сделал выводов из того, что Кросс, чье тело и душа были безнадежно искалечены, выглядел счастливым и здоровым. Я все еще верил в сексуальную мифологию, преподанную мне Самбо и Флип. Таинственные, страшные опасности оставались. Любое утро вокруг твоих глаз могли появиться черные круги, и ты узнавал, что ты тоже потерян. Но это уже не было важно. Такие противоречия легко уживаются в детском уме из-за детской живости. Ребенок принимает – как может быть иначе? – на слово все глупости, которые ему рассказывают старшие, но его юное тело и сладость окружающего мира говорят ему совсем иное. С адом, в который лет до четырнадцати я официально верил, было точно так же. Ад почти наверняка существовал, и живо прочитанная проповедь тебя могла напугать до истерики. Но истерика быстро прекращалась. Огонь, который тебя ожидал, был настоящим огнем, и от него будет так же больно, как когда ты обжигаешь палец, и навсегда, но большую часть времени он легко забывался.

Различные кодексы, дававшиеся учащимся в школе Св. Киприана – религиозные, моральные, социальные и интеллектуальные – друг другу противоречили, если их последовательно выполнять. Основной конфликт имелся между традицией аскетизма, пришедшей из девятнадцатого века, и реально существующей роскошью и снобизмом эпохи до 1914 года. С одной стороны было церковное, библейское христианство, половой пуританизм, требование трудиться, уважение к академическому успеху, осуждение роскошной жизни; с другой – презрение к «мозглякам» и преклонение перед спортом, презрение к иностранцам и рабочему классу, почти невротический страх перед бедностью, и превыше всего, принятие не только того, что главное в жизни – это деньги и привилегии, но и того, что их лучше унаследовать, чем заработать собственным трудом. Грубо говоря, от тебя требовалось быть одновременно христианином и успехом в обществе, что было невозможно. В те годы я не понимал, что те идеалы, которые перед нами ставились, друг друга сводили на нет. Я только видел, что все, или почти все они были недостижимы, по крайней мере в моем случае, так как все они зависели не только от того, как ты поступал, но и от того, кем ты был.

Очень рано, в возрасте десяти или одиннадцати лет, я пришел к заключению – никто мне этого не говорил, но с другой стороны, я сам это не придумал, так что скорее всего, это висело в воздухе – чтобы не стать неудачником, нужно иметь £100 000. К этой цифре я пришел, должно быть, читая Теккерера. Проценты от £100 000 будут £4 000 (я придерживался безопасной ставки 4%), и мне это казалось минимальным доходом, требующимся для принадлежности к сливкам общества, имеющих усадьбы. Но было ясно, что я никогда не войду в этот рай, так как чтобы к нему принадлежать, там нужно родиться. Сделать деньги можно было только посредством таинственной операции «пойти в Сити», и когда ты из Сити выйдешь, держа в руках свои £100 000, ты уже толстый старик. Но самое завидное в успешных людях было то, что они были богатыми, оставаясь молодыми. Для мне подобных, амбициозных представителей среднего класса, проходящих экзамены на службу, был возможен лишь унылый, трудоемкий успех. Ты забирался вверх по лестнице стипендий на Государственную Службу, или на Индийскую Колониальную Службу, или же становился адвокатом. И если в какой-то момент ты «расслаблялся» или «отлынивал», и пропускал одну из ступеней, ты становился «мальчиком из офисов на £40 годовых». Но даже если ты забирался на самый верх уготовленной тебе лестницы, все равно ты мог быть лишь подчиненным, служкой влиятельных людей.

Даже если бы я этому не научился от Самбо и Флип, я бы этому набрался от других мальчиков. Вспоминая, кажется поразительным, насколько изощренными и смысленными снобами все мы были, насколько хорошо были осведомлены об именах и адресах, как скоро обнаруживали мелкие различия в акцентах, манерах и покровах одежды. У некоторых мальчиков, казалось, из пор сочлились деньги, даже посреди унылой нищеты зимнего семестра. В особенности в начале и в конце семестра, происходила наивно-снобистская болтовня о Швейцарии, о Шотландии с проводниками и куропатками, о «дядиной яхте» и «нашем поместье» и «моем пони» и «папином авто». Думаю, что во всемирной истории никогда больше не было времен, когда сама вульгарная жирность богатства, без какой-либо искупающей ее аристократической элегантности, так бросалась в глаза, как это было в те годы до 1914. Это были времена, когда сумасшедшие миллионеры в волнистых цилиндрах и жилетках цвета лаванды устраивали вечеринки с шампанским на яхтах в стиле рококо на Темзе, времена игры диаволо и зауженных книзу юбок, времена денди в серых котелках и фраках с вырезом, времена «Веселой вдовы»[8 - Оперетта Франца Легара (1905).], романов Саки[9 - Псевдоним английского сатирика Генри Хью Мунро.], «Питера

Пэна»[10 - Пьеса Дж. М. Барри (1904).] и «Там, где кончается радуга»[11 - Детская сказочная пьеса Клиффорда Миллза (1911).], восхитительных уикендов в Брайтоне и вкуснейшего чая в ресторане Трок. От всего десятилетия до 1914 года разит вульгарной, невзрослой роскошью, бриллиантином, мятным ликером и шоколадными конфетами с мягкой начинкой – атмосферой нескончаемого клубничного мороженого на зеленых лужайках под «Песню итонских гребцов». Самым невероятным было всеобщее представление о том, что это сочащееся, выпирающее богатство английского высшего и высшего-среднего класса будет продолжаться бесконечно, и является частью мирового порядка. После 1918 года все стало иным. Снобизм и дорогие привычки вернулись, несомненно, но в смущенной и неловкой форме. До войны, поклонение деньгам было полностью лишено рефлексии, и не запятнано угрызениями совести. Деньги были добром не в меньшей степени, чем здоровье или красота, а сверкающий автомобиль, аристократический титул или орда слуг в людских умах смешивались с понятием нравственной добродетели.

В школе Св. Киприана, на протяжении семестра общая скудость жизни насаждала некоторую демократию, но одно упоминание о каникулах, и вытекающее из него хвастовство об автомобилях, дворцких и дачах быстро вызвало к жизни классовые различия. Школа была пропитана странным культом Шотландии, что выявляло фундаментальное противоречие в насаждавшихся ценностях. Флип утверждала, что имеет шотландские корни, и потакала шотландским мальчикам, поощряла их ношение шотландской юбки с клановым клетчатым узором вместо школьной формы, и даже крестила своего младшего ребенка гэльским именем. Мы все должны были почитать шотландцев потому, что они «суровые» и «грозные» (наверное, правильное слово – «непреклонные»), и непобедимые на поле брани. В главном кабинете висела гравюра на стали, изображающая атаку шотландских кавалеристов в сражении при Ватерлоо, которые явственно атаковали французов с огромным удовольствием. В нашем представлении, Шотландия состояла из горных потоков и каменистых склонов, мужских юбок и кожаных сумок, палашей и волюнок, вперемешку с укрепляющим действием овсяной каши, протестантизма и холодного климата. Но подоплека этого была совсем иной. Настоящей причиной культа Шотландии было то, что отдыхать там летом имели возможность только самые богатые. А притворная вера в шотландское превосходство прикрывала нечистую совесть английских оккупантов, вытеснивших горцев-крестьян с ферм, чтобы освободить место для лесов, где можно охотиться на оленей, и в порядке компенсации сделавших их своими слугами. Лицо Флип всегда сияло невинным снобизмом, когда разговор заходил о Шотландии. Иногда она даже пыталась имитировать шотландский акцент. Шотландия была привилегированным раем, о котором могли говорить лишь инициированные, так, чтобы остальные чувствовали себя исключенными:

– Вы на эти каникулы в Шотландию едете?

– Еще бы! Мы туда ездим каждый год.

– У моего папы – три мили реки.

– А мне папа на двенадцатый день рождения дарит новое ружье. Там, куда мы едем, много тетеревов. А ну, вон отсюда, Смит. Что ты подслушиваешь? Ты в Шотландии никогда не был. Ты, наверное, даже не знаешь, что такое тетерев.

Этому следовала имитация крика тетерева, рева оленя и акцента «наших проводников» и т. д. и т. п.

А каким допросам подвергались новички сомнительного социального происхождения –

допросы удивительно жестокие в своей подробности, учитывая, что они учинялись инквизиторами двенадцати-тринадцати лет!

– Сколько твой отец получает в год? В каком районе Лондона вы живете? Найтсбридж или Кенсингтон[12 - Аристократические районы Лондона.]? Сколько у вас в доме уборных? Сколько в вашей семье слуг? У вас дворецкий есть? Ну, тогда хотя бы повар? У кого вы шьете одежду? На сколько шоу вы ходили на праздники? Сколько вы с собой брали денег? И так далее.

Я был свидетелем того, как новичок, не старше восьми лет, отчаянно лгал во время такого катехизиса:

– У твоих есть машина?

– Да.

– Какая?

– Даймлер.

– Сколько лошадиных сил?

(Пауза, и прыжок в неизвестность.) – Пятнадцать.

– Какие фары?

Мальчик не знает, что ответить.

– Какие фары – электрические или ацетиленовые?

(Пауза подольше, и еще один прыжок в неизвестность.) – Ацетиленовые.

– Ха-ха-ха! Он говорит, что его папаша машина с ацетиленовыми фарами. Их уже давно не делают. У него машина столетней давности!

– Тьфу! Врет он все. У него нет машины. Он землекоп. Твой папаша – землекоп!

И так далее.

Согласно социальным стандартам, окружавшим меня, я никуда не годился, и не мог годиться. Но все различные виды добродетели, казалось, таинственным образом переплетены, и принадлежат одним и тем же людям. Ценились не только деньги: также ценилась сила, красота, обаяние, атлетизм, и нечто, называвшееся «силой характера», что на самом деле означало способность подчинять других своей воле. У меня не было ни одного из этих качеств. В спорте, например, я был безнадежен. Я был неплохим пловцом, и далеко не худшим игроком в крикет, но эти виды спорта не были престижными, так как мальчики ценят спорт только если он требует силы и смелости. Ценился футбол, в котором я был нолею. Я ненавидел этот спорт, а постольку, поскольку я в нем не видел ни пользы, ни удовольствия, мне было трудно показать в нем смелость. В футбол, как мне казалось, играют не из-за удовольствия ударов по мячу, а из-за того, что это разновидность драки. Любители футбола – большие, шумные здоровяки, у которых хорошо получается сбивать с ног и топтать мальчиков поменьше. Это было главной чертой школьной жизни – непрерывный триумф сильных над слабыми. Добродетелью было выигрывать: быть хорошим означало

быть больше, сильнее, красивее, популярнее, элегантнее, беспринципнее окружающих – доминировать их, третировать их, делать им больно, выставяя их на посмешище, всячески брать над ними верх. Жизнь иерархична, и кто силен, тот прав. Сильные мира сего заслуживают побеждать, и всегда побеждали, а слабаки заслуживают проигрывать, и испокон веков проигрывали.

Я не подвергал сомнению окружавшие меня стандарты, так как насколько я мог видеть, иных не было. Как богатые, сильные, элегантные, модные, власть имущие могут быть неправы? Мир – их, и правила, установленные ими для мира, должны быть правильными. Но с очень раннего возраста я понимал невозможность субъективного конформизма. Посреди моего сердца всегда, казалось, бодрствует «внутреннее я», и указывает на разрыв между моральными обязательствами и психологическими фактами. Так было во всех вещах, мирских и духовных. Возьмем, к примеру, религию. Бога нужно было любить, и я в этом не сомневался. Лет до четырнадцати я верил в Бога, и верил, что то, что о нем говорится – правда. Но я также прекрасно знал, что я его не любил. Более того, я его ненавидел – а также ненавидел Иисуса и еврейских патриархов. Если я питал симпатии к какому-либо персонажу Ветхого Завета, то это были Каин, Иезавель, Аман, Агаг, Сисара; в Новом Завете моими друзьями были Ананий, Каиафа, Иуда и Понтий Пилат. Вообще, вся религия была усеяна психологическими невозможностями. Молитвенник, например, говорил тебе любить Бога и бояться его: но как можно кого-нибудь любить, если ты его боишься? С личными сантиментами все было точно так же. Что ты должен чувствовать было обычно ясно, но соответствующая эмоция по приказу не появлялась. Очевидно, я должен был чувствовать благодарность в отношении Флип и Самбо, но я не был благодарен. Было также ясно, что нужно любить собственного отца, но я прекрасно знал, что своего отца я недолюбливал – до восьми лет я его почти не видел, и представлял его хриплоголосым пожилым мужчиной, вечно говорившим «Нельзя». Ты не то, чтобы не хотел иметь правильные свойства или ощущать нужные эмоции – ты не мог. Казалось, что хорошее и возможное никогда не совпадали.

Одна стихотворная строчка, которую я прочитал не в школе Св. Киприана, а год-два спустя, отдавалась свинцовым эхом в моем сердце. Это было «армии непоколебимого закона»[13 - Искаженная цитата из стихотворения «Люцифер в звездном свете» Джорджа Мередита.]. Я знал в совершенстве, что значит – быть Люцифером, побежденным, справедливо побежденным, лишенным возможности мести. Школьные учителя и их трости, миллионеры и их шотландские замки, курчавые атлеты – это были армии непоколебимого закона. В те годы было нелегко осознать то, что на самом деле, он был поколебим. И согласно этому закону, я был проклят. У меня не было денег, я был слаб, я был уродлив, я был непопулярен, у меня был хронический кашель. Эта картина, нужно признаться, не была полностью вымышленной. Я был непривлекательным мальчиком. Школа Св. Киприана меня таковым сделала, если я таковым не был до нее. Но вера ребенка в собственные слабости редко сформирована фактами. Я, например, верил, что я «дурно пахну», но это было основано всего лишь на соображениях общей вероятности. Было известно, что непривлекательные люди дурно пахнут, и следовательно, я предполагал, что тоже дурно пахну. Более того, лишь после того, как я навсегда покинул школу, я перестал верить, что я сверхъестественно уродлив. Так мне говорили мои одноклассники, а больше авторитетов, на которые можно было положиться, у меня не было. Убеждение, что мне невозможно стать успехом, закралось достаточно глубоко, чтобы влиять на мои поступки даже в совсем взрослом возрасте. Лет до тридцати я всегда планировал дальнейшую жизнь, предполагая не только, что какое-либо серьезное усилие всегда закончится неудачей, но и что я могу ожидать прожить еще всего несколько лет.

Но это чувство вины и неперенной неудачи балансировалось чем-то иным: а именно,

инстинктом самосохранения. Даже слабое, уродливое, трусливое, зловонное существо, чье существование абсолютно ничем не оправдано, все же хочет жить и по-своему быть счастливым. Я не мог перевернуть существующую систему ценностей, или стать успехом, но я мог принять собственную неудачу, и приспособиться к этой ситуации. Я мог принять себя таким, каким я есть, и попытаться выжить на этих правах.

Но выжить, или по крайней мере сохранить какую-либо независимость, было преступно, так как это означало нарушать правила, которые ты сам признавал. Со мной учился мальчик по имени Клиффи Бёртон, который месяцами надо мной жестоко издевался. Он был высоким, сильным, грубо-красивым мальчиком с очень красным лицом и курчавыми черными волосами, который постоянно выворачивал чьи-то руки, выкручивал чьи-то уши, порол кого-то наездничим кнутом (он был в шестом классе), или творил чудеса на футбольном поле. Флип его любила (почему его и называли по имени), и Самбо его хвалил, как мальчика с «сильным характером», который умел «наводить порядок». За ним следовала группа подхалимов, прозвавших его «Силач».

Однажды, когда мы в раздевалке снимали пальто, Бёртон почему-то меня оскорбил. Я ему ответил тем же, после чего он схватил меня за запястье, вывернул его, и выгнул мою руку назад так, что было кошмарно больно. Я помню его красивое, насмешливое красное лицо, склонившееся надо мной. Думаю, что он был старше меня, а также несравненно сильнее. Когда он меня отпустил, в моем сердце собралась страшная, злая решимость. Я ему отомщу, ударив его тогда, когда он это меньше всего будет ожидать. Это был стратегический момент, так как учитель, вышедший на прогулку, мог в любой момент вернуться, и тогда драки не могло быть. Я подождал, наверное, минуту, подошел к Бёртону с самым безвредным выражением, которое я только мог напустить на лицо, а потом, пользуясь всем весом своего тела, ударил его кулаком в лицо. Удар отбросил его назад, и изо рта у него потекла кровь. Его вечно румяное лицо почернело от гнева. Он развернулся, и промыл рот в тазу.

– Так и быть! – сказал он мне сквозь зубы, когда учитель нас уводил.

После этого, он днями ходил за мной, вызывая меня на драку. Хотя я и был напуган до чертиков, я твердо отказывался с ним драться. Я сказал, что удар в лицо свел с ним счеты, и больше драться было не из-за чего. Любопытно, что он на меня не навалился, не ожидая моего согласия, хотя общественное мнение это поддержало бы. Так что постепенно обида развеялась.

Я поступил неправильно, как согласно моим собственным правилам, так и согласно его правилам. Ударить его, когда он этого не ожидал, было неправильно. Но потом отказываться драться, зная, что если мы подеремся, он меня избьет – было гораздо хуже: это было трусостью. Если бы я отказывался потому, что я не одобрял драк, или потому, что я искренне считал, что все счеты были сведены, это было бы приемлемо; но я отказывался лишь оттого, что боялся. Даже моя месть из-за этого не считалась. Я его ударил в миг бездумного насилия, намеренно не думая о будущем, а только будучи полон решимости один раз постоять за себя, и к черту все последствия. У меня было время осознать, что я поступил неправильно, но это было таким преступлением, от которого получаешь удовлетворение. Сейчас все было сведено к нолю. Первый поступок содержал в себе смелость, но последующая трусость ее стерла.

Факт, который я не заметил, состоял в том, что хотя формально Бёртон вызывал меня на драку, он на меня не нападал. Более того, получив один удар, он больше надо мной не издевался. Лишь лет через двадцать я осознал значимость этого. В те

же времена, я не мог выйти за рамки дилеммы, которая ставилась перед слабыми в мире, управляемом сильными: нарушь правила, или умри. Я не видел, что в этом случае, слабые имеют право составлять для себя другой набор правил, так как даже если бы эта мысль пришла мне в голову, не нашлось бы никого, кто бы ее мне подтвердил. Я жил в мире мальчиков, общительных существ, ничто не подвергающих сомнению, принимающих закон сильного, и мстящих за собственные унижения, передавая их другим послабее. Моя ситуация была такой же, как и у бесчисленного множества других мальчиков, и даже если потенциально я был боульшим бунтовщиком, чем большинство, то только потому, что по мальчиковым стандартам, я был жалким образчиком. Но я никогда не бунтовал интеллектуально – лишь эмоционально. Мне ничто не могло помочь, кроме собственного тупого эгоизма, неспособности себя не то, что презирать – не любить, моего инстинкта самосохранения.

Где-то через год после того, как я ударил Клиффи Бёртона в лицо, я навсегда покинул школу Св. Киприана. Кончался зимний семестр. Чувствуя выход из тьмы на солнечный свет, я повязал школьный галстук, одеваясь в дорогу. Я хорошо помню чувство новенького шелкового галстука вокруг шеи, чувство освобождения, как будто галстук был одновременно знаком совершеннолетия и амулетом против голоса Флип и трости Самбо. Я убегал из рабства. Не то, чтобы я ожидал или даже намеревался преуспеть в частной средней школе более, чем я преуспел в школе Св. Киприана. Тем не менее, я убегал. Я знал, что в частной средней школе будет больше уединения, меньше внимания, больше шансов бездельничать и потакать своим прихотям. За много лет до того, я решил для себя – сначала бессознательно, но потом вполне сознательно – что после получения стипендии я буду «отлынивать» и навсегда прекращу зубрежку. Я настолько последовательно выполнил это обещание, что между тринадцатью и двадцатью двумя-двадцатью тремя годами я едва ли поднял палец, чтобы выполнить какую-либо работу, которую можно было избежать.

Флип пожала мне руку, прощаясь. Она даже по случаю назвала меня по имени. Но в ее выражении лица и голоса было нечто покровительственное, почти насмешливое. Тон, которым она прощалась, был почти тем же, которым она произносила бабочек. Я получил стипендии в двух местах, но я был неудачей потому, что успех измерялся не тем, что ты делал, но тем, кем ты был. Я не был «мальчиком хорошего сорта», и не мог увеличить добрую репутацию школы. У меня не было ни сильного характера, ни смелости, ни здоровья, ни силы, ни денег, ни даже хороших манер, способности выглядеть джентльменом.

– До свидания, – казалось, говорила прощальная улыбка Флип, – сейчас уже не стоит ссориться. В школе Св. Киприана ты успехом не стал, разве не так? Не думаю, что в средней школе ты добьешься большего. Несомненно, мы совершили ошибку, потратив на тебя столько времени и денег. Мальчику с твоим происхождением и взглядами на жизнь такое образование мало что может предложить. Ой, только не думай, что мы тебя не понимаем. Мы все знаем о всех твоих идеях; знаем, что ты сомневаешься в том, чему мы тебя научили, а также что ты ни капельки не благодарен за все, что мы для тебя сделали. Но вспоминать все это сейчас не имеет смысла. Мы за тебя больше не несем ответственности, и мы тебя больше не увидим. Давай просто признаем, что ты – одна из наших неудач, и расстанемся без обид. Так что, до свидания.

Вот, по крайней мере, что я прочитал в ее лице. Но все же, каким счастливым я был тем зимним утром, когда поезд меня увозил, а вокруг шеи у меня был повязан сверкающий новый шелковый галстук (темно-зеленого, голубого, и черного цвета, если я правильно помню). Мир чуть-чуть приоткрывался передо мной, как серое небо, в котором появляется голубая полоска. В средней школе будет приятнее, чем

в школе Св. Киприана, но по сути своей она столь же чужда. В мире, где первой необходимостью были деньги, титулованные родственники, атлетизм, одежда от портного, аккуратная прическа и обаятельная улыбка, я никуда не годился. Все, что я приобрел, была отсрочка. Немного спокойствия, немного потворства своим прихотям, небольшая передышка от зубрежки – и крах. В чем заключался крах, я не знал: возможно, колонии или табуретка клерка, а возможно, тюрьма или смерть в юном возрасте. Но сначала – год-два «поотлынивать», и насладиться плодами своих прегрешений, как доктор Фауст. Я твердо верил в свое дурное предназначение, но тем не менее был совершенно счастлив. Преимущество тринадцати лет в том, что ты не только можешь жить мгновением, но и делать это совершенно сознательно, предвидеть будущее, и относиться к нему наплевательски. В следующий семестр я пойду в Веллингтон. Я также получил стипендию в Итон, но было неясно, откроется ли там вакансия, так что сначала я пойду в Веллингтон. В Итоне у тебя будет собственная комната – комната, в которой даже может быть камин. В Веллингтоне у тебя будет собственная кабинка, в которой вечером можно будет себе приготовить какао. Как по-взрослому! А также там будут библиотеки, в которых можно болтаться, и летние вечера, когда можно будет увильнуть от игр и бродить на природе без учителя-погонщика. А до этого будут каникулы. У меня было ружье 22 калибра (марка «Меткий стрелок», ценой 22 шиллинга и 6 пенсов), а на следующей неделе – Рождество. Еще будут прелести обжорства. Я вспомнил об исключительно пышных плюшках с кремом, которые продавались в одном магазине в городе по 2 пенса (дело было в 1916 году, и карточная система еще не была введена). Даже то, что денег на поездку мне дали на шиллинг больше, чем нужно – достаточно для непредвиденной чашечки кофе или пары пирожных по дороге – наполняло меня восторгом. Вот время для щепотки счастья, пока будущее надо мной не захлопнулось. Но я знал, что будущее мрачно. Неудача, неудача, неудача – неудача позади меня, неудача впереди – вот глубочайшая уверенность, которую я в себе нес.

6

Все это было тридцать лет назад и более. Вопрос стоит такой: проходит ли школьник через подобный опыт и по сей день?

Единственным честным ответом на этот вопрос было бы: мы не знаем наверняка. Конечно, очевидно, что современное отношение к образованию несравнимо гуманнее и разумнее, чем в прошлом. Снобизм, бывший неотъемлемой частью моего образования, сейчас почти что немыслим, так как общество, его питавшее, мертво. Вспоминается разговор, имевший место приблизительно за год до моего окончания школы Св. Киприана. Русский мальчик, высокий и белобрысый, на год старше меня, меня расспрашивал:

– Сколько твой отец получает в год?

Я ответил то, что мне казалось правдой, приукрасив на несколько сот фунтов. Русский мальчик, аккуратный в своих привычках, вынул карандаш и тетрадку, и подсчитал.

– У моего папы более, чем в двести раз больше денег, чем у твоего, – объявил он, презрительно усмехаясь.

Это было в 1915 году. Интересно, что стало с этими капиталами через пару лет? И

еще более интересно, происходят ли теперь в подготовительных школах такие разговоры?

Очевидно, что имело место огромное изменение взглядов на жизнь, всеобщее распространение «просвещения», даже среди бездумных обывателей из среднего класса. Религиозная вера, например, по большей части исчезла, и за собой утянула глупости иного рода. Думаю, что мало кто теперь говорит ребенку, что если он занимается онанизмом, то ему прямая дорога в сумасшедший дом. Битье также дискредитировано, и во многих школах запрещено. И недокармливание детей уже не рассматривается, как нечто нормальное, чуть ли не полезное. Никто сейчас не станет давать школьникам как можно меньше еды, или говорить им, что вставать из-за стола таким же голодным, каким ты за него сел – это здоровее. Вообще положение детей улучшилось, частично из-за того, что их стало относительно меньше. А широкое распространение даже немногих психологических знаний сделало труднее для родителей и учителей потакать своим психическим отклонениям во имя дисциплины. Вот случай, с которым я лично не сталкивался, но о котором я слышал от человека, за которого я ручаюсь, и случился он уже после моего рождения. Маленькая девочка, дочь священнослужителя, продолжала мочиться в постель в том возрасте, когда она уже должна была это перерастить. Чтобы наказать ее за этот ужасный проступок, отец привел ее на вечеринку в саду, и там представил ее всей компании, как девочку, которая мочится в постель, а чтобы подчеркнуть ее гадость, он перед этим выкрасил ее лицо в черный цвет. Я не утверждаю, что Флип и Самбо могли бы такое проделать, но я не думаю, что это бы их сильно удивило. Все-таки, времена меняются. Но все же...!

Вопрос заключается не в том, застегивают ли на мальчиках до сих пор итонские воротнички каждое воскресенье, или говорят ли им, что детей находят под крыжовником. Это-то, спору нет, находится на последнем издыхании. Настоящий вопрос – это нормально ли до сих пор школьнику много лет жить среди иррациональных ужасов и сумасшедших неразберих. И здесь перед нами встает огромная трудность познания, что же ребенок на самом деле чувствует и думает. Ребенок, кажущийся довольно-таки счастливым, на самом деле может испытывать ужасы, которыми он не может или не хочет делиться. Он живет в чуждом, подводном мире, в который мы можем проникнуть лишь посредством памяти или гадания. Наша основная путеводная нить – это то, что мы сами когда-то были детьми, но кажется, многие забывают атмосферу собственного детства почти полностью. Вспомните, например, ненужные мучения, которым родители подвергают детей, посылая их в школу в одежде неправильного покроя, и отказываясь признавать, что это имеет значение! По поводу такого рода вещей ребенок иногда выскажет протест, но зачастую его отношение заключается в простой скрытности. Не показывать взрослому свои истинные чувства кажется инстинктивным, начиная лет с семи-восьми. Даже привязанность, которую чувствуешь к ребенку, желание его защищать и нежно любить, является источником непонимания. Ребенка можно любить, наверное, глубже, чем другого взрослого, но было бы поспешным предполагать, что ребенок чувствует какую-либо ответную любовь. Вспоминая собственное детство после младенческих лет, я не припомню, чтобы я когда-либо чувствовал любовь к какому-либо взрослому человеку, за исключением моей матери, и даже ей я не доверял, в том смысле, что из-за робости я по большей части скрывал от нее свои подлинные чувства. Любовь, стихийную, безоговорочную эмоцию любви, я мог испытывать только к молодым. К старикам – имейте в виду, что «старик» для ребенка – это человек старше тридцати, или даже двадцати пяти лет – я мог чувствовать почтение, уважение, восхищение или угрызения совести, но казалось, что я от них отрезан пеленой страха и робости вперемешку с физической неприязнью. Физическое отвращение к взрослым, которое чувствуют дети, слишком охотно забывается. Огромный размер

взрослых, их неуклюжие, негибкие тела, их грубая, морщинистая кожа, громадные расслабленные веки, желтые зубы, и душок заношенной одежды и пота и табака, который исходит от них при каждом движении! Одна причина уродливости взрослых с точки зрения ребенка заключается в том, что ребенок обычно смотрит снизу вверх, а снизу лицо редко выглядит красиво. Кроме того, сам будучи свежим и безупречным, ребенок устанавливает невыполнимо высокие стандарты качества кожи и зубов и цвета лица. Но самый высокий барьер – это непонимание ребенком возраста. Ребенок не представляет себе жизнь после тридцати лет, а в своих суждениях о возрасте других он будет фантастически ошибаться. Он будет думать, что двадцатипятилетнему человеку сорок лет, а сорокалетнему – шестьдесят пять, и так далее. Когда я влюбился в Эльзи, мне она представлялась взрослой. Мы еще раз встретились, когда мне было тринадцать лет, а ей, должно быть, двадцать три – теперь она казалась мне женщиной средних лет, чьи лучшие годы позади ее. И ребенок считает, что старение – это почти непристойное бедствие, которое с ним никогда не произойдет. Все старше тридцати лет – безрадостные гротески, бесконечно беспокоящиеся о неважном и живущие, постольку, поскольку это видно ребенку, без видимых на то причин. Только детская жизнь – настоящая. Школьного учителя, который воображает, что мальчики его любят и ему доверяют, на самом деле передразнивают, и у него за спиной над ним потешаются. Взрослый, который не кажется опасным, почти всегда кажется смешным.

Я основываю эти обобщения на том, что сумел вспомнить из своего собственного детского взгляда на жизнь. Хотя память коварна, мне она кажется основным способом узнать, как работает детский разум. Только воскрешая собственную память, мы можем понять, насколько искаженным ребенок видит мир. Возьмем следующий пример. Как бы я сейчас воспринял школу Св. Киприана, если бы я смог вернуться, в моем теперешнем возрасте, в 1915 год? Что бы я подумал о Самбо и Флип, этих страшных, всемогущих чудовищах? Я бы их счел парой неумных, поверхностных неудачников, изо всех сил карабкающихся по общественной лестнице, которая, что было очевидно любому здравомыслящему, была в любой момент готова обрушиться. Я бы их испугался не больше, чем я бы испугался ореховой сони. Более того, тогда они мне казались фантастически старыми, в то время, как – хотя я не уверен в этом – скорее всего, они были несколько младше, чем я сейчас. А кем бы мне показался Клиффи Бёртон, с руками кузнеца и красным, презрительным лицом? Всего лишь маленьким неопрятным мальчиком, которого с трудом можно отличить от сотен других маленьких неопрятных мальчиков. Эти два набора фактов лежат в моем уме рядом друг с другом, так как это – моя собственная память. Но мне было бы очень трудно смотреть на мир глазами любого другого ребенка, кроме как используя силу воображения, которая может меня увести совсем не туда. Ребенок и взрослый живут в различных мирах. Если это действительно так, то мы не можем быть уверены, что школа, а именно школа-интернат, уже не томестилище ужасов для многих детей, каким она была раньше. Уберите Бога, латынь, розги, классовые различия и сексуальные табу – и страх, ненависть, снобизм и неразбериха вполне могут остаться. Очевидно, что моей главной проблемой было полнейшее отсутствие какого-либо чувства пропорций и вероятностей. Это привело к тому, что я принимал за должное возмутительное, принимал за чистую монету абсурдное, и мучался из-за полнейших пустяков. Было бы неверным утверждать, что я был «глупым» или «невежественным». Взгляните на собственное детство, и вспомните все глупости, в которые верили, и все пустяки, приносившие страдание. Слабость ребенка в том, что он начинает с чистого листа. Он не понимает и не подвергает сомнению общество, в котором он живет, а взрослые могут воспользоваться его доверчивостью, и заразить его чувством неполноценности и страхом нарушить таинственные, страшные законы. Возможно, что все то, что происходило со мной в школе Св. Киприана, может произойти и в самой «просвещенной» школе, пусть в

более тонкой форме. В чем я, однако, уверен, так это в том, что школы-интернаты хуже, чем дневные школы. Ребенку лучше, если убежище-дом неподалеку. И я считаю, что своими характерными пороками английский высший и средний класс частично обязаны практике, до недавнего времени повсеместной, отдавать своих детей в интернаты в возрасте девяти, восьми или даже семи лет.

Я никогда не возвращался в школу Св. Киприана. Годовщины окончания, встречи выпускников и тому подобное оставляют меня равнодушным, даже когда мои воспоминания хорошие. Я никогда не возвращался в Итон, хотя там я был относительно счастлив. Я однажды проезжал неподалеку в 1933 году, и заметил, что ничего не изменилось, разве что в магазинах стали продавать радиоприемники. Что же касается школы Св. Киприана, то само ее название столько лет вызывало во мне такую глубокую ненависть, что я не мог рассматривать ее достаточно отстраненно, чтобы понять значимость того, что со мной там происходило. В каком-то смысле, только в течение последнего десятилетия я обдумал свои школьные годы, хотя память о них меня всегда живо преследовала. Думаю, что если я увижу школу сейчас, то на меня она не произведет сильного впечатления – предполагая, что она все еще стоит (много лет назад мне сказали, что она якобы сгорела). Если мне нужно будет проехать через Истборн, то я не сделаю крюк, чтобы не смотреть на школу, а если я проеду мимо самой школы, то возможно, я даже остановлюсь на минуту возле низкой кирпичной стены над крутым берегом, и посмотрю через ровную спортплощадку на уродливое здание с асфальтированной площадкой перед входом. А если бы я зашел внутрь, и вновь почувствовал чернильный, пыльный запах главного кабинета, канифольный запах молельни, затхлый запах бассейна и холодную вонь уборной, то наверное, мои чувства были бы такими же, как и у любого взрослого, посещающего места, где он провел детство: как все уменьшилось, и как я постарел! Но факты таковы, что на протяжении многих лет я едва бы выдержал еще раз на нее взглянуть. Лишь в случае крайней необходимости я бы ступил ногой в Истборн. У меня даже появилось предубеждение против Суссекса, графства, в котором расположена школа Св. Киприана, и будучи взрослым, я приезжал в Суссекс лишь однажды, и то ненадолго. Сейчас же память об этом месте полностью вышла из моего организма. Его чары уже не действуют, и у меня даже не осталось враждебности для того, чтобы надеяться, что Флип и Самбо мертвы, или что школа действительно сгорела.

1939(?) - июнь 1948 гг.(?) [14 - Оруэлл написал это эссе после публикации в 1938 году автобиографической повести «Враги обещаний» своего одноклассника по школе Св. Киприана и Итону и многолетнего друга, писателя и литературного критика Сирила Коннолли. Повесть Коннолли также критично описывает школу Св. Киприана, хотя далеко не так отрицательно, как эссе Оруэлла. Тем не менее, Сисели Уилкес («Флип») написала Коннолли письмо, утверждая, что он был несправедлив к ней и к ее мужу. К 1960м годам сам Коннолли признал свою неправоту, и публично раскаялся в том, что он, в частности, «принимал энтузиазм за финансовые мотивы», а после публикации эссе Оруэлла встал на защиту Уилкесов. Современные биографы Оруэлла указывают на других бывших одноклассников писателя, которые вспоминали свои школьные годы совсем в ином ключе, а также на его детские письма домой, и полагают, что описание школы Оруэллом не соответствует действительности, и что ему там было гораздо лучше, чем он это признавал. Учитель Оруэлла и Коннолли в Итоне, впоследствии кембриджский дон А. С. Ф. Гоу, хорошо знавший школу Св. Киприана, утверждал в письме в газету «Санди Таймс» в 1967 году, что описание Оруэллом школы в этом эссе несправедливо, и ее ужасы сильно преувеличены, и что Оруэлл написал неправду с подачи Коннолли; Гоу также пытался убедить вдову Оруэлла не публиковать это эссе. Эссе было впервые опубликовано (с измененным

названием школы, именем директора и его жены и других, а также без указания географического местоположения школы) в американском журнале «Партизан ревью» в 1952 году, после смерти Оруэлла. В Великобритании оно было впервые опубликовано в 1968 году в полном собрании эссе, журналистики и писем Оруэлла, после смерти Вогана и Сисели Уилкесов, согласно пожеланиям Оруэлла. Комментарий: Илья Винарский]

Примечания

1 Оригинал названия, Such, Such were the Joys – цитата из «Песен Невинности» Уильяма Блейка:

“Such such were the joys,
When we all girls & boys,
In our youth time were seen,
On the Ecchoing Green.”

В переводе Сергея Степанова:

«Мы тоже детьми
Резвились до тьмы,
Танцую в кругу
На Звонком Лугу!»

2 Знаменитые английские частные средние школы; в тексте дальше упоминаются Хэрроу, Аппингэм и Веллингтон.

3 На самом деле, родители Оруэлла платили за его учебу £90 в год вместо обычных £180.

4 Частная школа в романе Чарльза Диккенса «Николас Никльби» (1838-1839), где царили очень жестокие порядки.

5 Жители вымышленной страны из сатирического романа Сэмуэля Батлера «Эревол» (1872), где быть больным или несчастным считается преступлением.

6 Роман Уильяма Мейкписа Теккерея (1847-48).

7 Стихи к случаю (франц.).

8 Оперетта Франца Легара (1905).

9 Псевдоним английского сатирика Генри Хью Мунро.

10 Пьеса Дж. М. Барри (1904).

11 Детская сказочная пьеса Клиффорда Миллза (1911).

12 Аристократические районы Лондона.

13 Искаженная цитата из стихотворения «Люцифер в звездном свете» Джорджа Мередита.

14 Оруэлл написал это эссе после публикации в 1938 году автобиографической повести «Враги обещаний» своего одноклассника по школе Св. Киприана и Итону и

многолетнего друга, писателя и литературного критика Сирила Коннолли. Повесть Коннолли также критично описывает школу Св. Киприана, хотя далеко не так отрицательно, как эссе Оруэлла. Тем не менее, Сисели Уилкес («Флип») написала Коннолли письмо, утверждая, что он был несправедлив к ней и к ее мужу. К 1960м годам сам Коннолли признал свою неправоту, и публично раскаялся в том, что он, в частности, «принимал энтузиазм за финансовые мотивы», а после публикации эссе Оруэлла встал на защиту Уилкесов. Современные биографы Оруэлла указывают на других бывших одноклассников писателя, которые вспоминали свои школьные годы совсем в ином ключе, а также на его детские письма домой, и полагают, что описание школы Оруэллом не соответствует действительности, и что ему там было гораздо лучше, чем он это признавал. Учитель Оруэлла и Коннолли в Итоне, впоследствии кембриджский дон А. С. Ф. Гоу, хорошо знавший школу Св. Киприана, утверждал в письме в газету «Санди Таймс» в 1967 году, что описание Оруэллом школы в этом эссе несправедливо, и ее ужасы сильно преувеличены, и что Оруэлл написал неправду с подачи Коннолли; Гоу также пытался убедить вдову Оруэлла не публиковать это эссе. Эссе было впервые опубликовано (с измененным названием школы, именем директора и его жены и других, а также без указания географического местоположения школы) в американском журнале «Партизан ревью» в 1952 году, после смерти Оруэлла. В Великобритании оно было впервые опубликовано в 1968 году в полном собрании эссе, журналистики и писем Оруэлла, после смерти Вогана и Сисели Уилкесов, согласно пожеланиям Оруэлла.

Комментарий: Илья Винарский